

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

(Москва, 1835)

Дар творчества дается немногим избранным любимцам природы, и дается им не в равной степени. У одних степень его силы зависит решительно от одной природы; у других она зависит сколько от природы, столько и от внешних обстоятельств. Есть художники, произведения которых обстоятельства их жизни могут сообщить тот или другой характер, но на творческий талант которых они не имеют никакого влияния: это художники-гении. Отличительный признак их гениальности состоит в том, что они властвуют обстоятельствами и всегда сидят глубже и дальше черты, очерченной им судьбою, и, под общими внешними формами, свойственными их веку и их народу, проявляют идеи, общие всем векам и всем народам. Шекспир и при дворе Лудвига XIV остался бы Шекспиром; его гения не задушил бы заразительный воздух двора этого блистательного, но отнюдь не великого, короля Франции; его гениального взгляда на жизнь — этой природной философии не убило бы мишурное величие *золотого* века французской словесности; его могущественных порывов не оковали бы схоластические понятия об изящном. Но Расин и при дворе Елизаветы был бы придворным поэтом, перелаживал бы дворские сплетни в трагедии и писал бы по той мерке, которую давали бы ему люди, общественное мнение, приличие или вкус королевы и лордов. Творения гениев вечны, как природа, потому что основаны на законах творчества, которые вечны и незыблемы, как законы природы, и которых кодекс скрыт во глубине творческой души; а не на преходящих и условных понятиях об искусстве того или другого народа, той или другой эпохи; потому что в них проявляется великая идея человека и человечества, всегда понятная, всегда доступная нашему человеческому чувству, а не

идеи двора или общества в то или другое время, у того или другого народа. Гений есть торжественнейшее и могущественнейшее проявление сознающей себя природы, и потому есть явление редкое; не многие века озарялись этими роскошными солнцами, у не многих сияло на небосклоне по несколько этих солнцев... Но ежели вся цепь создания есть не что иное, как восходящая лестница сознания бессмертного и вечного духа, живущего в природе, то и служители искусства представляют собою ту же самую лестницу, которая восходит или нисходит, смотря по тому, с начала или с конца будете вы обозревать ее. Бесконечная и всегда неразрывная цепь! Есть художники, которых вы не решитесь почтить высоким именем гениев, но которых вы поколеблетесь отнести к талантам, которые как бы начинают собою нисходящую ступень лестницы и как бы принадлежат к этому дивному поколению духов, которыми пламенное воображение младенчествующих народов населило и леса и горы, и воды и воздух, и которых назвало сильфами и пери, и поставило их на черте между высшими небесными духами и человеком. Наконец есть еще эти художники, озаменованные большею или меньшею степенью таланта творческого, эти *люди*, на которых небо взирает, как на любимых, хотя и занимающих свое место после духов бесплотных, чад своих. Хвала и поклонение наше гению, хвала и удивление высокому таланту! — Но не откажем же хотя во внимании и этому меньшому и юнейшему сыну неба! Не равно лучезарны лучи, сияющие на их главах, но все они дети одного и того же неба, все сии служители одного и того же алтаря. Пусть один будет ближе, другой дальше к алтарю — воздадим каждому почтение наше по месту, занимаемому им; но уважим всякого, кому дано свыше высокое право служения алтарю...

Я хочу сказать, что художник по призванию есть всегда предмет, достойный внимания нашего, на какой бы ступени художественного совершенства ни стоял он, как бы ни было невелико его творческое дарование. Если он точно художник, если точно природа помазала его при рождении на служение искусству, если он только не дерзкий самозванец, непосвященно и самовольно присвоивший себе право служения божеству, — то, говорю я, не пройдем мимо его с холодным невниманием, но остановимся перед ним и посмотрим на него испытующим взором: может быть, на его челе подглядим мы печать высокой думы, которая не для всех заметна; может быть, в его очах мы уловим этот луч вдохновения, который всегда бывает гостем небесным; может быть, его уста выскажут нам какую-нибудь святую тайну, взволнуют нашу грудь каким-нибудь сладким, хотя и тихим чувством...

Таким поэтом почитаем мы г. Кольцова; с такой точки зрения смотрим мы на талант его; он владеет талантом неболь-

шим, но истинным, даром творчества неглубоким и несильным, но неподдельным и ненатянутым, а это, согласитесь, не совсем обыкновенно, не весьма часто случается. Поспешим же встретить нового поэта с живым сочувствием, с приветом и ласкою...

Я сказал, что гений-художник независим от внешних обстоятельств, что эти обстоятельства дают тот или другой характер его созданиям, но не возвышают и не ослабляют силы его фантазии. Не таковы обыкновенные таланты: их нельзя рассматривать вне обстоятельств их жизни, потому что этими обстоятельствами объясняется иногда и их чрезвычайный успех и их падение, этими обстоятельствами определяется, что они могли бы сделать и почему они сделали столько, а не столько, так, а не этак, и, следовательно, определяется важность и степень их таланта. Чтобы написать в наше время несколько строф, не уступающих в звучности и великолепии некоторым строфам Ломоносова, нужно одно умение и навык, а в то время, в которое жил Ломоносов, для этого нужен был талант. И разве сам Шекспир не становится выше в наших глазах оттого самого, что он жил в XVI, а не в XIX веке? Представьте себе Державина, поэта века Екатерины II, поэтом века Петра Великого: разве ваше удивление к нему не удвоится? И разве сам Ломоносов не гений уже по одному тому, что он был холмогорским рыбаком? Разве Слепушкин и другие, совершенно не будучи поэтами, не обратили на себя общего внимания потому только, что они принадлежали к низшему классу общества и самим себе были обязаны тем образованием, которое как они сами, так и публика приняла за дар творчества?.. Кольцов тоже принадлежит к числу этих поэтов-самоучек, с тою только разницею, что он владеет истинным талантом.

Кольцов — воронежский мещанин, ремеслом прасол. Окончив свое образование приходским училищем, то есть выучив букварь и четыре правила арифметики, он начал помогать честному и пожилому отцу своему в небольших торговых оборотах и трудиться на пользу семейства. Чтение Пушкина и Дельвига в первый раз открыло ему тот мир, о котором томилась душа его, оно вызвало звуки, в ней заключенные. Между тем домашние дела его шли своим чередом; проза жизни сменяла поэтические сны; он не мог вполне предаться ни чтению, ни фантазии. Одно удовлетворенное чувство долга награждало его и давало ему силы переносить труды, чуждые его призванию. Может быть, и еще другое чувство охраняло поэзию этой души, которая всего чаще высказывала свое горе в степях, у огней,

Под песнь родную чумака (стр. 20) ¹¹⁵.

Как тут было созреть таланту? Как мог выработаться свободный, энергический стих? И кочевая жизнь, и сельские

картины, и любовь, и сомнения попеременно занимали, тревожили его; но все разнообразные ощущения, которые поддерживают жизнь таланта, уже созревшего, уже воспитавшего свои силы, лежали бременем на этой неопытной душе; она не могла похоронить их в себе и не находила формы, чтобы дать им внешнее бытие.

Эти немногие данные объясняют и достоинства, и недостатки, и характер стихотворений Кольцова. Немного напечатано их из большой тетради, присланной им, не все и из напечатанных равного достоинства; но все они любопытны, как факты его жизни. Природа дала Кольцову бессознательную потребность *творить*, а некоторые вычитанные из книг понятия о творчестве заставили его *сделать* многие стихотворения. Из помещенных в издании найдется два-три слабых, но ни одного такого, в котором не было бы хотя нечаянного проблеска чувства, хотя одного или двух стихов, вырвавшихся из души. Большая часть положительно и безусловно прекрасны. Почти все они имеют близкое отношение к жизни и впечатлениям автора и потому дышат простотою и наивною выражения, искренностию чувства, не всегда глубокого, но всегда верного, не всегда пламенного, но всегда теплого и живого. Но при всем этом они разнообразны, как впечатления, которых плодом они были. В «Великой тайне» читатель найдет удивительную глубину мысли, соединенную с удивительною простотою и благородством выражения, какое-то младенчество и простодушие, но вместе с тем и возвышенность и ясность взгляда. Это дума Шиллера, переданная русским простолюдином с русскою отчетливостию, ясностию и с простодушием младенческого ума. В «Песне старика», «Удальце», «Совете старца» дышит этот разгул юного чувства, которое просится наружу, выражается широко и раздольно и которое составляет основу русского характера, когда он, как говорится, *расходится*.

Мне ли молодцу
Разудалому
Зиму-зимскую
Жить за печкою?
Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин?
Молотить овес?
Мне поля — не друг;
Коса — мачеха;
Люди добрые —
Не соседи мне.
Если б молодцу
Ночь да добрый конь,

Да булатный нож,
Да темны леса!

Любо в тех лесах
Вольной волей жить...
Но душой за кровь
Злодей платится!

Лучше ж воином
За царев закон,
За крещеный мир
Сложить голову! ¹¹⁶

В «Пирушке русских поселян», «Размышлении поселянина» и «Песни пахаря» выражается поэзия жизни наших простолюдинов. Вот этакую *народность* мы высоко ценим: у Кольцова она благородна, не оскорбляет чувства ни цинизмом, ни грубостью, и в то же время она у него неподдельна, не натянута и истинна. Простота выражения и картин, прелесть того и другого у него неподражаемы. По крайней мере до сих пор мы не имели никакого понятия об этом роде народной поэзии, и только Кольцов познакомил нас с ним. Но что составляет цвет и венец его поэзии, это те стихотворения, в которых он изливает свое тихое и безотрадное горе любви; они следующие: «Люди добрые, скажите»; «Ты не пой, соловей»; «Первая любовь»; «Не шуми ты, рожь»; «К N». Четвертое особенно прелестно; вот оно:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!

Мне не для чего
Собирать добро,
Мне не для чего
Богатеть теперь!

Прочил молодец,
Прочил доброе,
Не своей душе,
Душе-девице.

Сладко было мне
Глядеть в очи ей,
В очи полные
Полюбовных дум.

И те ясные
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Красна девица!

Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!

Сколько тоски, сколько грусти, сколько благородства, просто-
ты и поэзии в этой песне!

Ах, та песнь была заветная —
Рвала белу грудь тоской,
А все слушать бы хотелось.
Не рассгалась бы век с ней!¹⁴⁷

Теперь послушайте еще раз этого крестьянина, который
выражает тоску любви своей уже другим напевом, другим
тоном:

Что душу в юности пленило,
Что сердце в первый раз
Так пламенно, так нежно полюбило —
И полюбило не на час,
То все я силюся предать забвенью,
И сердцу пылкому и страстному томленью
Хочу другую цель найти,
Хочу другое также полюбить!
Напрасно все: тень прежней милой
Нельзя забыть! —
Уснешь — непостижимой силой
Она тихонько к ложу льнет,
Печально руку мне дает,
И сладкою мечтой вновь сердце очарует,
И очи томные к моим очам прикует!..
И вновь любви приветный глас
Я внемлю страждущей душою...
Когда ж ударит час
Забвенья о тебе иль вечности с тобою?..¹⁴⁸

И это не поэзия?..

Не знаю, будут ли иметь успех стихотворения Кольцова, обратит ли на них публика то внимание, которого они заслуживают, будут ли уметь наши журналы отдать им должную справедливость, — все это покажет время. Но мы не можем не признать, что Кольцов является с своими прекрасными стихотворениями не во-время, или, лучше сказать, в дурное время. Хорошо еще для него, если бы он явился среди всеоб-

щего затишья наших неугомонных лир, а то вот беда, что он является среди дикого и нескладного рева, которым терзают уши публики гг. непризванные поэты, преизобильно и преисправно наполняющие, или, лучше сказать, наводняющие, некоторые журналы; является в то время, когда хриплое карканье ворона и грязные картины будто бы народной жизни с торжеством выдаются за поэзию... Грустная мысль! неужели и в самом деле гудок, волынка и балалайка должны заглушить звуки арфы? Неужели и в самом деле стихотворное паясничество и кривлянье должны заслонить собою истинную поэзию?.. Чего доброго! поэзия Кольцова так проста, так неизысканна и, что всего хуже, так истинна! В ней нет ни диких, напыщенных фраз об утесах и других страшных вещах; в ней нет ни моху забвения на развалинах любви, ни плотных устеров, в ней не гнездится любовь в ущельях сердец, в ней нет ни других подобных диковинок. Толпа слепа: ей нужен блеск и треск, ей нужна яркость красок, и ярко-красный цвет у ней самый любимый... Но нет — этого быть не может! Ведь есть же и у самой толпы какое-то чутье, которому она следует наперекор самой себе и которое у ней всегда верно! Ведь есть же люди, которые, предпочитая Пушкину и того и другого поэта, тверже всех поэтов знают наизусть Пушкина и чаще всех читают его?.. Кажется, теперь бы и должно быть этому времени, в которое все оценивается верно и безошибочно? — Увидим!

Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под игом жизни? — Этот вопрос решит будущее, нам остается только желать, чтобы этот талант, которого дебют так прекрасен, так полон надежд, развился вполне. Это много зависит и от самого поэта; да не падет же его дух под бременем жизни, или убитый ею, или обольщенный ее ничтожностью, да будет для него всегдашним правилом эта высокая мысль борьбы с жизнью и победы над нею, которую он так прекрасно выразил в следующем стихотворении:

К ДРУГУ

Развеселись, забудь что было!
Чего уж нет — не будет вновь!
Все ль нам на свете изменило
И все ль с собой взяла любовь?
Еще отрад у жизни много,
У ней мы снова погостим:
С одним развел нас опыт строгий,
Поладим, может быть, с другим!
И что мы в жизни потеряли,
У жизни снова мы найдем!
Что нам мгновенные печали?

Мы ль их с собою не снесем?
Что грусть земли? Ужель за гробом
Ни жизни, ни награды нет?
Ужели тѣм, за синим сводом,
Ничтожество и тьма живет?
Ах, нет! кто мучится душою,
Кто в мире заживо умрет,
Тот там, за дальней синевою,
Награды верные найдет.
Не верь истления кумиру,
Не верь себе, не верь людям,
Не верь пророчащему миру,
Но веруй, веруй небесам!
И пусть меня людская злоба
Всего отрадного лишит,
Пусть с колыбели и до гроба
Лишь злом и мучит и страшит
Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я;
Могильной тленью в прах низринусь,
Но скорби не отдам себя!

Мы от души убеждены, что до тех пор, пока г. Кольцов будет сохранять подобные чувства и будет основывать на них неизменное правило жизни, его талант не угаснет!..

СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА

*«Телескоп», 1835, ч. XXVII, стр. 470—483 (ценз. разр. 4 декабря). Подпись:
В. Белинский.*

С Кольцовым Белинский, повидимому, познакомился еще в 1831 году. Оба они впервые выступили тогда на страницах незначительного издания «Листок», который издавал кн. Д. В. Львов, а редактировал П. Артемов. Знакомство было закреплено в 1836 году и превратилось в подлинную сердечную дружбу. «И какой светлый ум у этого человека, — рассказывал

Кольцов И. Панаеву, — какое горячее благородное сердце. Я обязан всем ему: он меня поставил на настоящую дорогу» (И. Панаев, «Воспоминания», 1928, стр. 181). В 1835 году Белинский вместе с Станкевичем отобрал для сборника восемнадцать стихотворений Кольцова и издал их на средства, собранные по подписке. Это издание Белинский и рецензирует.

Поэзия Кольцова дает Белинскому новый материал для размышлений на тему о лирике. Величайшей заслугой Кольцова он считает введение в литературу тем и образов из крестьянского быта. Голос простого народа, который звучит в стихах Кольцова, позволяет Белинскому прийти к выводу, что истинная народность в лирике, как и в прозе, заключается в верном изображении чаяний и настроений народных масс. «Вот такую народность, — заявляет он, — мы высоко ценим». Выражением этой народности является подкупающая искренность, естественность, простота. Наиболее существенными чертами поэта Белинский признает независимую мысль, сильное чувство, живость, точность и художественную простоту выражения. Замечательно, что его идеал подлинного поэта полностью совпал с высказываниями Пушкина, настойчиво твердившего о нераздельности чувства и мысли, о силе и простоте в лирической поэзии.

Кольцов нарисовал образ наделенного живым умом, глубоко чувствующего крестьянина, что само по себе уже было протестом против крепостнической действительности.

Творчество народного певца Белинский противопоставляет «бенедиктовщине» — поэзии чиновной бюрократии.

Вслед за Белинским, возможно под влиянием его статьи, приветствовал Кольцова Пушкин, писавший в «Современнике» (1836, № 1): «Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание...» (Полн. собр. соч. Пушкина, 1947, т. V, стр. 260). Еще о Кольцове см. т. III наст. изд.

¹⁴⁵ (Стр. 175). Цитата из стихотворения Кольцова «Путник» (1828).

¹⁴⁶ (Стр. 177). Из стихотворения «Удалец» (1835). Белинский опустил четыре строфы; предпоследняя читается:

В церкви поп Иван
Миру гуторит,
Что душой за кровь
Злодей платится....

¹⁴⁷ (Стр. 178). Цитата из романа Лажечникова: «Сладко пел душа соловушко».

¹⁴⁸ (Стр. 178). Стихотворение Кольцова «Первая любовь» (1835).